

Терешкова

Рассказик из советского времени

Ее зовут Терешкова. Не называют, а зовут. Потому что она Валя и потому что Терешкова. Вот она машет мне рукой, взгромоздившись на какой-то шамотной кочке, — среди обширного болота, открывающего живописный вид на индустриальный пейзаж, тотчас за проходной. Машет кокетливо и вместе развязно, будто напомаженная шутиха, подобрав полы складчатого байкового халата, усыпанного бледными анемичными цветами, выпрастывая пунцовые ладони к распушившемуся на ветру платку-тюбану.

Ковыляю навстречу по всхлипывающему под башмаками набухшему известковому хрящу. Колеи, протоптанные в этой — зимой и летом одним цветом — топи напоминают кофейные подонки, десятилетиями скапливающуюся на доньшке красномедной джезвы тырсу.

Валюха пританцовывает на своем подкаблучном островочке:

"Валентине Терешковой
за полет космический —
эх! —
Фидель Кастро подарил —
эх! —
член автоматический..."

В цеху пыльно и жарко. Полыхают в полутьме длиннющие туннельные печи. Облицовочная плитка артикула "кабанчик" смалится наподобие своего зоологического оригинала, но гораздо дольше — по 36 часов кряду, в каком-то немислимом температурном режиме. Твердеет, словно усохшая кабанья шкура, чтобы в дальнейшем декорировать собой срамные фасады новостроек.

Плетенная из металлической проволоки рифленая конвейерная лента течет незамерзающим ручейком навстречу Терешковой и ее товаркам, фигуры каковых здорово напоминают усеченные пирамиды, — в тех же колоколообразных надутых халатах. Вопреки помянутой безразмерности, формы все же рельефно хороши, аппетитны. "У Вальки жопа, как орех, — ухмыляется бригадирша, — так и просится на грех".

На конвейерной ленте опрокинутыми карточными колодами в восемь нескончаемых шеренг выстроилась слегка просушенная шамотная плитка, только что отчеканенная прессами. Задача (незадача?) "садчиц" заключается в том, чтобы безостановочно собирать эту хрупкую субстан-

цию и "садить" ее в вагонетки, то и дело заталкиваемые в туннельную печь на обжиг. Все искусство состоит в том, чтобы плитку собирать стремительно и вместе нежно, иначе она крошится прямо в руках. Затем собранные стопы (колоды?) аккуратно заклиниваются меж противоположными бортами вагонетки — так, чтобы не было перекосов, и каждая плиточка выходила бы из печи ровнехонькой.

Процесс технологически непрерывный, однообразный, круговой. Ручей подвяленной плитки никогда не иссякает. "Садчицы" стоят у последней черты обороны, как панфиловцы. Мужики здесь не выдерживают и смены: ни отлить, ни покурить. На позиции — сплошь лимитчицы, лихие насельницы длинного и пыльного, как туннельная печь, барака времен очаковских. Слева — кладбище, справа и впереди — тюремный замок, славный тем, что тамошний ключник Троцкий на свою голову презентовал одному из арестантов свою фамилию.

"О! — иронически восклицает Терешкова. — Пианист притопал! Пойдем, хоть отольем..."

Пианистом она меня прозвала за — без хвастовства! — исключительное умение собирать хрупкую рассыпчатую плитку и стремительно, и нежно. Я в одиночку виртуозно очищал половину ширины конвейера — четыре ряда из восьми. А когда нахлынет вдохновение, так и все пять! Получалось так, что я будто бы и в самом деле скользил по клавишам рояля. Только клавиши были побольше и пошероховатее.

Когда мы печалились глухой ночью — запыленные, изможденные, забытые и брошенные верховным командованием на третьестепенном участке фронта, — Терешкова вдруг оживляла непреклонные бдения какой-нибудь непредсказуемой арией варяжского гостя. Россиянка, прошедшая огонь, воду и канализационные трубы, она поражала меня широтой репертуара. Монотонные романсы и песни русского Севера, раздолбные заснеженные баллады перемежались подвывающей цыганщиной, оперными ариями и приклатненной лирикой.

"В каком-нибудь вагоне-ресторане, — пронзительно ввинчивала она в мартеновский купол цеха, — тебя ласкает кто-нибудь друго-ой. А я везде ищу тебя, Аленка, и я хочу, чтоб ты была со мной". "Колеса стучат, бегут поезда, — истово подхватывал наш нестройный и нестройной самодеятельный коллектив, — и ты уезжаешь надолго..."

Нравы у нас были еще те, не говоря уже о манерах. Но Терешкова в руки не давалась, хотя снисходительно кокетничала напрадую. Забавляла нас все новыми и новыми редакциями сюжета о том, как лишилась невин-

ности. Сегодня это был, допустим, одноклассник, трепетнее лани, какому все не удавалось освоить ее "мышинный глаз", а потому, дескать, он — по Валькиной же рекомендации! — подкладывал под "орех" весь наличный запас подушек-думочек. Впрочем, безрезультатно. Назавтра это был физрук или массовик-затейник крымского пансионата, где она проходила практику в столовке. Послезавтра мы радостно выслушивали трогательную версию про выпускной вечер, предрассветные колючие заросли и заключительное: "Отчего ты плачешь? Я мужик! Я женюсь!".

"Ну и как, женился?" — заливается бригадирша.

"А то как же", — отвечает Терешкова, хохоча и выразительно укладывая ребро левой ладони на локтевой сгиб правой руки.

Сближению предшествовал незатейливый, в общем, эпизод. Был у нас редкостно обаятельный обжигальщик Женька, тоже из российской глубинки, мой напарник по обслуживанию этих самых туннельных печей. Так вот этот Женька, весельчак и балагур, просто-таки правый башмак к Валькиному левому, как-то раз озвучил в лицах телерепортаж с какого-то правительственного официоза. Где-то там Генсек что-то такое стоял на открытом воздухе, а потом вдруг подозрительно покосился на небосвод.

"Тут, — лыбится рассказчик, — один солидняк из "конторы" тоже устремил подозрительный взор в поднебесье, подмигнул кому-то, и этот невидимый благодетель выпорхнул, будто джинн из бутылки, и накинул на плечи Самого ПЛАЩЫЧЭК". Женька выговорил именно так, на каком-то региональном наречии — смоленском, должно быть.

Была как раз новогодняя ночь. И то ли под впечатлением Женькиной болтовни, то ли от чего другого, но мы решили совершить производственную диверсию — вырубить на часок прессы и затолкать в печь пустую вагонетку. В конце концов, работаем сдельно. Кому какое дело, просто чуть меньше бабок срубим.

Мы тогда отменно в каптерке слесарей оторвались. Околичные девахи доставили качественного самогону. Как водится, проводили, встретили... Спели в очередь "Цвіте терен" и "В лунном сиянии ночь серебрится" — согласно этническому составу наличных лимитчиц. Терешкова ерничала по поводу топографии барака: "Меж тюрмой и сумой". Женька забавлял смоленскими присказками. Хорошо было...

Нашлись добрые люди — как же без них? — донесли. А начальник наш, с уморительной фамилией Шерамин, был мужик, как принято говорить, суровый, но справедливый. С другой стороны, план есть план. Это святое. Настучали в трест, и надо было принимать какие-то видимые меры.

Мне-то что, я был городской, прописанный, при маме с папой. Пришел за длинным рублем — это да. Здоровье было. И его было не жалко. Что мне сделают? Из барака, поди, не выселят. Взял инициативу на себя, пошел к начальнику. Повинился, мол, день рождения у меня, вот и соблазнил рабочий коллектив и т. д. и прочее. Шерамин, понятно, видел, что я несу полную околесицу, да на людях смолчал, прищурился. Короче, временно перевел меня в разнорабочие (а это была серьезная потеря в зарботке), о чем и доложил по инстанциям.

... "О! — Выдохнула Терешкова с сарказмом. — Наш пианист явился". Подошел ухмыляющийся Женька: "Что, мужик, не понос, так золотуха?". "Нет, — парирую, — то рубаха длинная, то хрен короткий".

Явился я в ночную смену при параде и модном тогда галстуке кремпленовом. Работал после разжалования исключительно в дневную смену и, откровенно говоря, отдыхал курортником. Но руки... Руки привычно потянулись к шамотным клавишам. Ступил к чертову конвейеру и взял несколько мощных беззвучных аккордов.

Валька вдруг колыхнулась навстречу, оставив настоящее эпохой место — у валика свивающейся в клубок сетчатой металлической ленты. Плитка потекла в образовавшуюся брешь прорванной обороны. Шмякнулась о бетонный пол и рассыпалась шершавым хрящом. Сверху свалилось еще несколько сухих "кабанчиков", формя маленькую кочку, кучку, надгробный холмик производственной дисциплины. Мы глядели замороженно, ничего не предпринимая, в каком-то пронзительном ступоре.

Терешкова ухватила меня за руку чуть выше кисти: "Пойдем. Женька, поиграешь за нас?". Женька деловито засуетился.

Мы поднялись во второй этаж, в заиндевевшую от пыли бытовку, и когда занимались друг другом прямо на полу, в проеме между "раздевальными" шкафчиками, за моей спиной задышали. Я повернул голову. Это был один занятный кадр из Средней Азии — пропившийся, отставший от поезда, зарабатывавший в нашем содоме на обратный билет и обычно ночевавший здесь же, в бытовке, на столе.

"Чего ж это вы, на полу, — заметил он участливо, — а стол зачем?"

"Не хотели бельем твоим постельным пользоваться", — угрюмо отозвалась Валька с нижнего этажа.

...Мою отвальную в университет справляли в том самом туннельном бараке времен покоренья Крыма. Мы сидели с Терешковой, как жених и невеста, как заслуженные артисты, как именинники. Похохатывали. Вспоминали еще историю о том, как нас застукал на задах заводской сто-

ловки один водила, Валькин дыхатель. Как он выхватил длиннющий и узкий, как тот же барак, кухонный нож и пошел на меня. Как Валька закрыла меня своим телом, точно амбразуру. Как мы гнали его потом на улицу: Терешкова — шваброй, я — рогатым навершием металлической вешалки на сколько-то персон. Как большая рыхлая добродушно-язвительная снабженка Белла Наумовна при виде этакой картинки затрепыхалась, зашлась в хохоте и поперхнулась им.

"Вспоминайте иногда вашего студента..." Я навещался в барак, и мы сколько-то раз бесшабашно буянили и резвились. А дальше моя Терешкова пропала. Поговаривали, что ее сманил один хмырь, поездной проводник или буфетчик. Это было вполне правдоподобно и совершенно в ее духе. Вечная лимитчица...

Стоит мне оказаться на вокзале, услышать рельсы или отдаленное паровозное ржание, вместе с ними различается заунывное, нарочито носовое Валькино подвыванье: "В каком-нибудь вагоне-ресторане тебя ласкает кто-нибудь другой...". Рефреном продымленных, изгаженных полустанков, захлебнувшихся шамотной жижей брошенных у последнего рубежа заводов.

Я продолжаю встречать это лукавое заплаканно-изолгавшееся существо на барахолках и развалках, на подступах к околичным винаркам, на паперти лесов, полей и рек, где человек проходит как хозяин. Я люблю этот багровый неискренний лик, кривобокую посадку головы, лисьи повадки, просыпающиеся, будто сухой шамот, непристойные каламбуры.

Мой бывший шеф, редактор, которого я люблю не меньше, неизменно подает "синеглазкам". Как-то упрекнул его: "Зачем? Они же тотчас пропьют". "Конечно, — отвечал он, нимало не смутившись, — но кто ж им подаст, если не я?"

В самом деле, кто же...

Первые числа февраля 1998-го

